Надточий В. Д.

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Маньчжурская западня



18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Маньчжурская западня

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Маньчжурская западня / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Он ещё жив. Но обратный отсчёт уже начался. И никто не знает, сколько ему осталось.Маньчжурия, 1904 год. Русско-японская война. Пока на фронте гремят орудия и гибнут тысячи солдат, вдали от передовой разворачиваются события, способные изменить судьбы многих людей.Капитан Григорий Ведерников оказывается втянут в опасную игру, о существовании которой даже не подозревал. Случайные встречи приобретают зловещий смысл. Незначительные подробности складываются в пугающую картину. А каждый шаг к разгадке порождает новые вопросы.Кто стоит за происходящим? Что скрывается за чередой необъяснимых событий? И почему правда оказывается опаснее самой войны?Харбин хранит множество секретов. Но один из них способен обернуться катастрофой.Ведерников ещё не понимает, в какую западню попал. А когда поймёт, пути назад уже может не быть.

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Часть первая. Сопка 8
Глава 1 8
Санитарный поезд 8
Глава 2 14
Капитан 14
Глава 3 19
Подполковник 19
Глава 4 24
Госпиталь 24
Глава 5 30
Пристань 30
Глава 6 35
Ателье «Восток» 35
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Владислав Надточий
Государевы люди. Маньчжурская западня

Надточий В.Д.
ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
МАНЬЧЖУРСКАЯ ЗАПАДНЯ

Пролог

Маньчжурия. Август 1904 года.

Солдат умер на руках у штабс-капитана, так и не назвав своего имени.

Он успел лишь схватить штабс-капитана за рукав и выговорить:

— В санитарном… седьмом… Не отдавайте своим.

Пальцы разжались. На рукаве штабс-капитана темнела кровь — в сумерках было не разобрать, чья.

Штабс-капитан оглянулся. За стеной полуразрушенного дома возницы прикрикивали на лошадей. По улице, забитой подводами и ранеными, пробиралась артиллерийская батарея. Ляоян ждал новых боёв, и никому не было дела до человека, умершего в двух шагах от штабного двора.

В голенище сапога штабс-капитан нащупал сложенную вчетверо бумагу.

Всего три строки: номер поезда, время отправления и условный знак. Подписи не было. На обороте другим почерком была выведена короткая приписка: «Если пакет попадёт в штаб, погибнут не те, кого вы думаете».

Он перечитал приписку. Вчитался снова. За спиной хрустнул щебень.

— Что у вас здесь? — спросил офицер, появившийся из темноты.

— Раненый. Не дожил до перевязочного пункта.

Незнакомец наклонился над телом. Лица его штабс-капитан почти не видел: козырёк фуражки закрывал глаза.

— Бумаги были?

— Нет.

Он ответил слишком поспешно. Незнакомец выпрямился.

— Тогда почему вы держите руку в кармане?

В ту же секунду за углом ударил выстрел. Лошади шарахнулись, кто-то закричал. Штабс-капитан инстинктивно пригнулся — и почувствовал, как мимо виска прошла пуля. Незнакомец уже вытаскивал револьвер.

Штабс-капитан метнулся в проход между домами. Позади дважды выстрелили. Он поскользнулся, ударился плечом о кирпичную стену и едва удержался на ногах. Записка осталась в кулаке.

У ближайшего переулка дорогу ему перегородила подвода с ранеными. Возница ругался, пытаясь развернуть лошадь. Штабс-капитан ухватился за борт.

— Куда идёте?

— К станции! Да отпустите же!

— Везите. И не останавливайтесь.

Он втиснулся между носилками. Молодой солдат с перевязанной головой открыл глаза.

— Господин офицер… наши отступают?

— Не знаю, братец.

Солдат снова закрыл глаза. Штабс-капитан посмотрел назад. В переулке стоял тот самый незнакомец. Теперь он не стрелял. Просто смотрел вслед подводе, словно уже знал, куда она приедет.

На станции санитарный поезд номер семь готовили к отправлению. В окна вагонов светили керосиновые лампы; на платформе носильщики спорили с железнодорожниками, а сёстры милосердия принимали раненых. Среди этой суеты можно было спрятать что угодно. Или потерять человека так, что его не хватились бы до следующей станции.

Штабс-капитан разжал пальцы. Бумага промокла от крови. Он ещё раз прочёл приписку и вдруг понял, что умерший солдат предупреждал не о враге.

Опасаться следовало людей в русских мундирах.

В конце платформы кто-то негромко свистнул — два раза коротко, один протяжно. Штабс-капитан поднял голову. У последнего вагона стояли двое в русской форме. Один из них медленно надел перчатку.

Поезд дал первый свисток.

Через десять минут поезд должен был уйти. Штабс-капитан ещё не решил, кому можно доверить записку.

Часть первая. Сопка

Глава 1

Санитарный поезд

Ночью 21 августа 1904 года девятнадцатилетняя сестра милосердия Варвара Смолина поняла: война пахнет вовсе не порохом.

Порох она знала. Порохом пахли шинели, которые разрезали на раненых ножницами, пахли волосы, пахли бинты, когда их снимали на третий день. К пороху она привыкла за две недели. Война пахла карболкой, гноем, мокрой соломой, на которой лежали те, кому не хватило носилок, и ещё сладковатым, тяжёлым, чему Варя не знала названия и о чём старшая сестра Анна Фёдоровна сказала коротко: «Это гангрена, голубушка. Нюхай и запоминай. Потом будешь узнавать с порога».

Варя запоминала. Она запоминала всё — и гордилась этим, и тяготилась. В Иркутске, в женской гимназии, она могла пересказать страницу Иловайского, прочитав её один раз. Отец, доктор Николай Петрович Смолин, говорил, что это фотографическая память, что такая бывает у одного человека на тысячу и что она её погубит. «Ты, Варвара, всё видишь, а это вредно. Люди, которые всё видят, редко бывают счастливы».

Отец был против того, чтобы она ехала. Мать плакала. Варя уехала всё равно, в мае, с первым отрядом Иркутской общины Красного Креста, и с тех пор написала домой четыре письма, в которых не было ни слова правды.

Санитарный поезд номер семь вышел из-под Ляояна вечером двадцатого числа.

Ляоян горел. Эвакуация шла уже несколько дней, хотя никто не говорил «оставляем», говорили «отходим на заранее подготовленные позиции», и Варя уже знала, что это значит. Это значило, что раненых грузили, не разбирая, кто куда ранен. Что в теплушки, рассчитанные на восемь носилок, клали по двенадцать. Что доктор Розен, главный врач поезда, маленький, лысый, в пенсне на шнурке, третьи сутки не снимал халата, и халат был у него уже не белый, а бурый, до локтей.

В составе было двадцать два вагона. Впереди паровоз, за ним два классных вагона для офицеров, потом операционная, потом аптека, потом теплушки, теплушки, теплушки, а в самом хвосте, последним, был прицеплен почтовый вагон полевой почтовой конторы. Его прицепили в последний час, уже в сумерках, и Варя видела, как его подталкивали к составу, и как солдат-сцепщик ругался, и как из вагона выглянул чиновник в форменной фуражке, с бородкой, и что-то крикнул.

Почему почтовый вагон прицепили к санитарному поезду, Варя не знала. Потом говорили, что другого паровоза не было. Что почту нельзя было оставлять японцам. Что приказ был такой. Много потом говорили.

Её поставили в первый классный вагон, к офицерам. Офицеров было двадцать шесть. Двадцать шесть человек на четырнадцать купе. Двое лежали в коридоре, прямо на шинелях. Варя ходила по коридору со свечой, переступала через ноги, поила водой из жестяной кружки, меняла повязки там, где кровь проступала насквозь, и записывала в тетрадку, у кого жар.

К полуночи она знала их всех. Поручик с оторванной кистью, который всё время спрашивал, не видела ли она его портсигар. Штабс-капитан с пулей в животе, который не спрашивал ничего и смотрел в потолок. Корнет, совсем мальчик, контуженный, который плакал без слёз, сухо, как кашляют. Подполковник с раздробленной ступнёй, который ругался по-французски.

А ещё был капитан из шестого купе.

Капитан лежал на нижней полке у окна, с перевязанным плечом, и не спал. Ему было под сорок. Короткие тёмные усы, ни следа седины. Много лет спустя Варя подберёт для его лица одно слово: внимательное.

— Вам больно? — спросила Варя.

— Нет, сестрица. — Он повернул голову. Глаза у него были серые, спокойные. — Я считаю.

— Что считаете?

— Станции. Мы прошли Шахэ, сейчас будет разъезд, потом Мукден. Я каждый раз считаю, когда еду. Привычка.

Варя хотела сказать, что это странная привычка, но не сказала. За две недели она видела всякие. Один солдат пел всю ночь «Вниз по матушке по Волге», один и тот же куплет, пока не умер. Пусть считает.

На верхней полке над капитаном лежал фельдфебель, огромный, рыжебородый, с забинтованной головой. Фельдфебеля полагалось везти в теплушке, но капитан, когда грузили, сказал доктору Розену что-то такое, отчего доктор махнул рукой и разрешил. Фельдфебель спал, и храпел, и во сне держал руку на кобуре капитанского револьвера, который висел на крючке у окна.

— Это ваш? — спросила Варя, кивнув наверх.

— Мой. — Капитан помолчал. — Тюрин. Аким Тюрин. Из ста девяноста человек моей роты вернулись сорок восемь. Сорок шесть ушли своими ногами. Меня и Тюрина вынесли. Остальные сто сорок два остались там.

Он произнёс это так буднично, что Варя не нашла ответа. Она поправила ему одеяло, хотя оно не сбилось, и пошла дальше по коридору.

* * *

В начале второго поезд резко затормозил.

Варя была в тамбуре, между первым вагоном и вторым, и мыла кружки в ведре. Вагон дёрнулся, заскрежетали тормоза. В коридоре что-то упало с полки, кто-то застонал. Потом поезд остановился. Совсем. Стало слышно, как шипит паровоз, далеко впереди. Потом и это стихло.

Она открыла дверь тамбура и выглянула.

Ночь была лунная. Справа, до самых сопок, лежал гаолян, высокий, в два человеческих роста, чёрный, шелестящий, как море. Слева тоже гаолян, а за ним, совсем близко, у самой насыпи, стояла маленькая будка, белёная, с фонарём над дверью. Разъезд. Фонарь горел. Под фонарём никого не было.

— Что там, сестрица?

Это спросили из коридора. Варя обернулась. Капитан из шестого купе стоял, держась здоровой рукой за косяк. Он был в нательной рубахе и в шароварах, босиком.

— Вам нельзя вставать.

— Почему остановились?

— Разъезд. Стоим.

Капитан, не отвечая, медленно прошёл к ней в тамбур, придерживая раненую руку, и выглянул тоже. Он долго всматривался в темноту. Наконец тихо сказал:

— Стрелочника нет.

— Может, спит.

— Может. — Он посмотрел вперёд, туда, где был паровоз. — Сестрица. Будите доктора. Тихо, никого больше не будите. Скажите ему: капитан Ведерников просит, чтобы все, кто может держать оружие, взяли оружие.

— Зачем?

Он не успел ответить. Далеко в хвосте поезда, за двадцать вагонов от них, хлопнул выстрел. Один. Сухой, плоский, словно две доски ударились одна о другую. Потом второй. Потом закричали, по-китайски, много голосов сразу, и из гаоляна по обе стороны насыпи поднялись тени.

Варя потом не могла вспомнить, сколько их было. Двадцать. Сорок. Она видела, как они бежали вдоль состава, пригибаясь, в тёмных куртках, с длинными косами, и в лунном свете у некоторых в руках блестело.

— Хунхузы. В вагон, сестрица. Живо!

Он втолкнул её в коридор и закрыл дверь тамбура. Потом, не оглядываясь, пошёл к своему купе.

* * *

Дальнейшее Варя запомнила обрывками, словно дурной сон.

Она помнила, как капитан снял с крючка револьвер, как фельдфебель наверху проснулся и сел, ударившись головой о потолок, и выругался. Как капитан сказал ему: «Тюрин, у тебя винтовки нет, бери у кого есть, и к тамбуру». Как поручик без кисти засмеялся, громко, страшно, и сказал: «Портсигар, господа, они пришли за моим портсигаром». Как в соседнем купе кто-то заряжал револьвер, и патроны сыпались на пол.

Хунхузы в классный вагон не полезли. Они бежали мимо, к хвосту состава. Варя смотрела из окна: один за другим, один за другим — казалось, им нет конца. Потом стало тихо. Только в хвосте кричали. Потом посыпались частые выстрелы — и снова наступила тишина.

— Почта, — произнёс капитан, не отходя от окна. Револьвер он держал здоровой рукой. — Им нужны не мы. Им нужен почтовый вагон.

— Почему за почтой? — спросил кто-то в коридоре.

Капитан промолчал. Варя заметила, как изменилось его лицо: глаза у него стали совсем светлые и пустые, как у человека, который смотрит на что-то внутри себя.

— Сестрица, — сказал он вдруг. — Как вас звать?

— Варвара Смолина.

— Варвара. В операционном вагоне есть телеграфный аппарат?

— Телеграфа нет. Только сигнальный фонарь.

— Не нужно. — Он подумал ещё. — Тюрин, сколько у нас винтовок?

— Три, вашбродь. И револьверов семь. И у господина подполковника шашка.

— Хорошо. В хвост не ходить. В хвосте мы ничего не сделаем. Держать вагоны. Если полезут к раненым, бить. Если не полезут, не трогать.

— А почта? — спросил подполковник с раздробленной ступнёй. — Почта, капитан? Там казённое.

— Там казённое, — согласился капитан. — А здесь двадцать шесть офицеров, из которых ходить могут четверо. Почту, ваше высокоблагородие, потом найдут. А нас, если мы туда пойдём, найдут сразу.

Подполковник выругался по-французски, но спорить не стал.

* * *

Позднее Варя не раз пыталась понять, зачем тогда вышла из вагона.

Может быть, потому что в операционном вагоне, через один от них, оставался доктор Розен. Один. Она знала: час назад доктор ушёл туда оперировать. Если хунхузы двинутся обратно вдоль состава, то пройдут мимо операционной. А может быть, просто потому, что ей было девятнадцать лет и она ещё не знала, что такое бояться по-настоящему.

Она выскользнула в тамбур, пока капитан говорил с подполковником, и спрыгнула на насыпь.

Гравий остыл. Ночь была по-осеннему холодной. Пахло гаоляном, полынью и паровозным дымом. Варя пошла вдоль состава, держась в тени вагонов, к операционной. До неё было шагов двадцать. Она прошла десять, когда из-за угла второго вагона ей навстречу вышли люди.

Их было трое: двое китайцев с косами, в тёмной одежде, и русский.

Русский оказался офицером, капитаном. Она различила погоны с четырьмя звёздочками, фуражку с кокардой и портупею. Высокий, худой, с аккуратными тёмными усами, он шёл спокойно, не торопясь, словно прогуливался по Невскому. Он был в перчатках. Под мышкой он держал большой серый пакет, перевязанный бечёвкой. Китайцы шли за ним, и один нёс фонарь.

Варя замерла. Бежать было некуда. Она прижалась спиной к колесу. Русский капитан остановился в трёх шагах от неё.

Он оглядел её косынку с красным крестом, передник, руки.

— Сестрица милосердия, — сказал он. Говорил он мягким, приятным баритоном. — Ночью. Одна. На насыпи. Это очень опасно.

Варя стиснула пальцы под передником и промолчала.

— Вы видели, куда пошли мои люди? — спросил он так же мягко.

— Не видела.

— Нет. — Он кивнул, будто она подтвердила его мысль. — Хорошо. Тогда идите в вагон, сестрица, и не выходите до утра. И скажите вашим раненым, что их никто не тронет. Нам не нужны раненые.

Он сказал что-то по-китайски тому, кто нёс фонарь. Тот поднял фонарь выше. Свет упал на лицо капитана, и Варя увидела его близко, на одно мгновение, и это мгновение потом осталось у неё в памяти на всю жизнь, как остаётся снимок на фотографической пластинке.

Лицо было русское. Ничего особенного: высокий лоб, прямой нос, тёмные брови. Только усы были странные. Варя не сразу поняла, чем. А потом поняла. Под левым усом, у самого края губы, блестело. Чуть-чуть. Как блестит лак. И край уса там чуть отставал от кожи, на волосок, как отстаёт уголок плохо приклеенной марки.

Клей. Спиртовой клей, мастика. Она знала его запах, знала, как он блестит, если положить толсто. В Иркутске, в гимназии, на любительских спектаклях она гримировала всех, от Хлестакова до Бабы-яги, и ей сто раз говорили, что у неё лёгкая рука.

Усы были накладными.

Она не знала, понял ли он, что она увидела. Он задержал на ней взгляд. Затем неторопливо, палец за пальцем, снял правую перчатку и протянул руку, как будто хотел погладить её по щеке. Варя отшатнулась. Рука повисла в воздухе. Это была длинная, узкая, сильная рука, и кончики пальцев у неё были чёрные. Не грязные — словно опалённые: большой, указательный и средний, с тёмными пятнами до первого сустава.

— Не бойтесь, сестрица. Женщин я не трогаю.

Потом снова надел перчатку. И сказал, глядя мимо неё, на вагон:

— Благодарствуйте, сестрица. За молчание.

«Благодарствуйте». Так говорили старухи в Иркутске. Так говорил дьячок в Крестовоздвиженской церкви. Офицеры так не говорили никогда.

Он повернулся, чтобы идти. И в этот момент из тамбура первого вагона, сверху, раздался голос:

— Стоять!

Варя увидела капитана Ведерникова. Он стоял на ступеньке тамбура, босой, в белой рубахе, с револьвером в левой руке, потому что правая висела на перевязи. Луна была у него за спиной, и он казался очень большим.

Русский капитан с пакетом обернулся.

— Вот как, — произнёс незнакомец почти весело. — Ещё один защитник.

Китаец с фонарём бросил фонарь и выстрелил. Варя не видела, откуда у него взялся револьвер. Пуля ударила в стенку вагона над головой Ведерникова, и щепка упала Варе на плечо. Ведерников выстрелил в ответ. Один раз. Китаец с фонарём сел на гравий, как садятся устало, и сказал что-то тонким голосом.

Второй китаец побежал. Русский капитан не побежал. Он стоял и смотрел на Ведерникова, а Ведерников смотрел на него поверх револьвера, и между ними было шагов семь.

— Положите пакет, — сказал Ведерников.

— Вы левша, капитан? — спросил русский.

— Нет.

— Тогда вы в меня не попадёте.

— Сделайте шаг — узнаете.

Русский улыбнулся. Под фонарём, упавшим на гравий и горевшим теперь снизу, его лицо казалось маской.

— Вы хороший офицер, — сказал он. — Это видно. Это жаль.

И он шагнул в сторону, за спину Вари, так быстро и так мягко, что она не успела даже повернуть головы. Его рука в перчатке легла ей на плечо. Не грубо. Почти бережно.

— Не стреляйте, капитан, — сказал он. — Попадёте в сестрицу.

Ведерников не выстрелил.

Они так стояли, может быть, полминуты. Потом русский капитан убрал руку и отступил назад, к гаоляну, шаг, другой, третий, всё время держа Варю между собой и револьвером. Потом гаолян зашелестел, и его не стало.

Ведерников спрыгнул со ступеньки. Не удержался на ногах, упал на колено, выругался коротко и страшно, поднялся. Подошёл к Варе.

— Не ранены?

— Нет.

— Зачем вышли?

— Доктор Розен один.

— Доктор Розен, — сказал Ведерников, — заперся в операционной и сидит под столом с ланцетом. Я его видел в окно. — Он посмотрел в гаолян, туда, куда ушёл человек с пакетом. — Вы его разглядели?

— Да.

— Запомните. Всё запомните, сестрица. Что видели, что слышали. Утром вас спросят.

— Я запомнила, — ответила Варя. Голос сорвался. Она сердито смахнула слезу, но за первой покатились другие.

Ведерников не стал её утешать. Он стоял рядом, с револьвером в опущенной руке, и смотрел в гаолян. Потом сказал, не поворачиваясь:

— Бывает, — тихо сказал он. — Пока стреляют, держишься. А после…

Китаец, которого он застрелил, лежал у колеса на боку и не двигался. Фонарь догорал на гравии.

* * *

Утром, когда пришла дрезина из Сыпингая с казаками, нашли почтовый вагон.

Двери были открыты настежь. Чиновник полевой почты, коллежский регистратор Зуев, с бородкой, лежал у порога с перерезанным горлом. Двое конвойных лежали внутри, оба застреленные в упор. Мешки с письмами были вспороты, письма раскиданы по полу, по насыпи, по гаоляну, их потом три дня собирали казаки, и некоторые так и не нашли.

Денег не взяли. Денежный ящик, железный, с двумя замками, стоял в углу нетронутый, хотя ключ от него висел у Зуева на шее. Не взяли ничего, кроме одного пакета. Пакет был серый, с пятью сургучными печатями, и вёз его не Зуев, а фельдъегерь штаба армии, поручик

Овчинников, которого посадили в почтовый вагон в последний момент, в Ляояне, потому что другого места не было.

Поручика Овчинникова нашли в гаоляне, в двухстах шагах от насыпи. Он был в одном белье. Мундира на нём не было, сапог не было, фуражки не было. Его убили ножом, одним ударом, под левую лопатку, сзади.

Капитан Ведерников стоял над ним, опираясь на плечо фельдфебеля Тюрина, и смотрел долго.

— Вашбродь, — сказал Тюрин. — Это тот самый, ночной? С пакетом?

— Нет, Аким. Ночной был живой. — Ведерников наклонился, превозмогая боль, и посмотрел на руки убитого. Руки были белые, чистые, с обкусанными ногтями. — Ночной был в его мундире.

— Как же так, вашбродь? Ночной ведь ходил капитаном. А этот поручик.

— Погоны перешить недолго. — Ведерников выпрямился. — Значит, он знал, что поручик будет в этом вагоне. Знал заранее. Значит, знал и про пакет.

Тюрин почесал рыжую бороду под бинтом.

— Шпион, значит, вашбродь?

— Не знаю, Аким. — Ведерников посмотрел на поезд, на санитарный поезд номер семь, который стоял на разъезде в утреннем тумане, как огромная серая гусеница, и из окон которого смотрели на них раненые. — Знаю только, что у него руки чёрные и что он говорит «благодарствуйте».

— Это кто ж вам сказал?

— Сестрица сказала. Вон та.

Варя стояла у операционного вагона, в забрызганном переднике, и смотрела на них. Ведерников поднял здоровую руку и кивнул ей. Она не кивнула в ответ. Она не отводила глаз, и он подумал, что такого взгляда не видел ни у одной женщины. Она смотрела так, будто записывала.

Пока он не думал ни о чём, кроме нападения. Считал погибших и пытался понять, кто помог налётчикам.

Двое конвойных. Чиновник Зуев. Поручик Овчинников. Стрелочник разъезда, которого нашли потом в будке, связанного, с кляпом, но живого. Один китаец у колеса.

Пакет. Пять печатей.

И сестрица, девятнадцати лет, которая видела клей.

Глава 2

Капитан

До Харбина санитарный поезд добирался несколько суток.

Капитан Григорий Петрович Ведерников всю дорогу пролежал у окна и почти не спал. Плечо ныло тупо и непрерывно, как больной зуб. Доктор Розен, осмотрев его на второй день, сказал, что осколок сидит глубоко, у самой кости, что вынимать его в поезде он не станет, а в Харбине посмотрят, и что, если капитан будет и дальше прыгать с подножек на насыпь, то посмотреть в Харбине можно будет только на его похороны. Ведерников ответил, что прыгать больше не собирается. Розен посмотрел на него поверх пенсне и не поверил.

Ведерников смотрел в окно и считал станции.

Сыпингай. Гунчжулин. Куанчэнцзы. Станции были похожи одна на другую, как солдатские пуговицы: кирпичный вокзал под зелёной крышей, водокачка, пакгауз, белёные казармы охранной стражи и вокруг, сколько хватает глаз, ровная, бурая, уже убранная маньчжурская земля, по которой ветер гнал пыль. На каждой станции стояли эшелоны. Встречные шли на юг, к Ляояну, полные, с песнями, с гармонью, с солдатскими лицами в каждой дверной щели. Попутные стояли на запасных путях, ждали, и на них были раненые, раненые, раненые.

Он считал эшелоны. Встречных насчитал девятнадцать. Попутных с ранеными одиннадцать. Зачем он это делает, Ведерников не знал. Просто так было легче.

Пока считал, удавалось не думать о сопке.

* * *

Сопка не имела названия. На штабной карте, которую ротному командиру девятнадцатого Восточно-Сибирского стрелкового полка капитану Ведерникову показали на четверть минуты, она значилась как «высота 151», а солдаты звали её Плешивой, потому что на вершине у неё не росло ничего, кроме полыни, а по склонам, до самого гаоляна, лежали серые камни, словно пятна на старческой лысине.

Роте приказали держать Плешивую сутки. Её поставили туда вечером семнадцатого августа, с двумя пулемётами и с обещанием, что к утру восемнадцатого подойдёт батальон из резерва. Батальон не подошёл. Не подошёл он и к вечеру восемнадцатого, и к утру девятнадцатого. Потом Ведерников узнал, что батальон ушёл совсем в другую сторону, по приказу, отменённому два часа спустя. Только известие об отмене отправили не туда.

Приказа на отход не поступало. Похоже, о роте забыли. Трое суток она удерживала Плешивую.

Японцы взялись за неё на рассвете восемнадцатого. Сначала артиллерия. Артиллерия била по сопке так, будто хотела срыть её до основания, и через час на вершине не осталось полыни, а через два не осталось камней, которые были бы там, где лежали утром. Потом пошла пехота. Японцы шли цепями, быстро, без криков, падали, вставали, шли снова, и было в них что-то, отчего у Ведерникова холодело под ложечкой: они шли так, будто их было бесконечно много и каждый из них давно решил, что умрёт, и не видел в этом ничего особенного.

Рота отбила семь атак за трое суток. Ведерников потом не помнил их по отдельности. Он помнил отдельные вещи. Помнил, как на второй день у него в окопе, в двух шагах, сидел подпоручик Гирс, двадцати двух лет, и ел консервы из банки, и японская шрапнель разорвалась над ними, и Гирс так и остался сидеть, с банкой в руке, а Ведерникову не досталось ничего. Помнил, как фельдфебель Тюрин на третий день, когда кончились патроны в одном пулемёте, пошёл ночью вниз по склону, к японским трупам, и принёс оттуда два мешка японских патронов, которые к русскому пулемёту не подходили, и сел у пулемёта и плакал от злости, рыжий,

огромный, как ребёнок. Помнил, как ночью двадцатого к ним на сопку пришёл казак, один, с приказом отходить, и посмотрел на них, и снял папаху, и перекрестился. И сказал: «Господи, да вы живые. А в штабе вас уж третьи сутки отпели».

Утром двадцатого он вывел с Плешивой сорок восемь человек из ста девяноста. Сорок шесть пошли сами. Тюрина и его самого везли на одной арбе. Осколок он получил уже в самом конце, при отходе, когда японцы, поняв, что сопка пустеет, дали по склону последний залп, и он даже не почувствовал сразу, только плечо стало горячим и мокрым, а потом рука перестала слушаться.

«Отпели», — сказал казак.

Ведерников лежал у окна санитарного поезда и думал, что так оно, вероятно, и есть. Что в какой-то штабной книге против его фамилии уже стоит крестик. И что в Ярославле, в доме на Власьевской, мать получит письмо, и будет плакать, а потом получит второе, что ошибка, и будет плакать опять, и не будет знать, какому верить. Надо написать ей сразу из Харбина. Надо написать так, чтобы она поверила.

* * *

Мать жила в Ярославле одна, с тех пор как умер отец. Отец служил по акцизному ведомству, всю жизнь, сорок лет, был честен до неприличия и умер титулярным советником, и это было в доме Ведерниковых чем-то вроде фамильной гордости: что ни один Ведерников никогда не брал. Григория отдали в кадетский корпус в десять лет, потому что больше некуда было отдать, и он вышел оттуда, как выходили все, в пехотное училище, а оттуда подпоручиком в армейский полк, стоявший в Вильне.

В Вильне он прослужил пятнадцать лет и дослужился до капитана, что было не быстро и не медленно, а так, как полагается армейскому пехотному офицеру без связей, без состояния и без желания жениться на дочери полкового командира. Его одновременно не любили и уважали. Не любили за то, что он не пил, не играл и не ходил к актрисам. Уважали за то, что рота у него была лучшая в полку и что солдаты у него не воровали, не дезертировали и не болели, потому что он знал каждого по имени и по губернии.

А потом случилось дело корнета.

Ведерников гнал эти воспоминания прочь. Но под стук колёс они возвращались: с того дела и началась его дорога в Маньчжурию.

В январе того года, за неделю до войны, в Вильне, в ресторане «Жорж», пьяный корнет уланского полка, мальчишка двадцати лет, застрелил тапёра. Тапёр был еврей, старик, звали его Зиновий Гольдман, он тридцать лет играл в «Жорже» вальсы и польки, и корнету не понравилось, как он сыграл «Боже, царя храни». Корнет сказал, что жиды не умеют играть гимн, и выстрелил. Попал в голову.

Ведерников был в ту ночь дежурным по гарнизону. Его вызвали в «Жорж» потому, что полиция боялась тронуть офицера, а офицерский патруль подчинялся дежурному. Он приехал, увидел тапёра на полу, у рояля, увидел корнета, который сидел за столиком, бледный, протрезвевший, и курил, и увидел пристава, который уже писал протокол.

В протоколе значилось: «Случайный выстрел при чистке оружия».

— Какой чистке? — спросил Ведерников. — В ресторане?

— Господин капитан, — сказал пристав и посмотрел на него очень выразительно, — господин корнет приходится племянником... — Он назвал фамилию. В Вильне эту фамилию произносили шёпотом.

Ведерников взял у пристава протокол, прочёл, порвал пополам и положил на рояль. Потом сказал корнету, что тот арестован. Корнет засмеялся. Тогда Ведерников надел на него полицейские наручники, взятые у того же пристава, сам отвёз на гарнизонную гауптвахту и написал рапорт, в котором было слово «убийство».

Через неделю корнета отпустили. Рапорт пропал. А капитана Ведерникова вызвал командир полка, долго ходил по кабинету, не глядя на него, и наконец сказал, что из штаба округа пришло распоряжение о его переводе в Маньчжурию, в действующую армию, в девятнадцатый Восточно-Сибирский стрелковый полк, с сохранением чина.

— Вы понимаете, Григорий Петрович, — сказал командир полка, глядя в окно, — я ничего не могу сделать.

— Понимаю, господин полковник.

— Вы ведь знали, чей он племянник.

— Знал.

— Тогда зачем?

Ведерников подумал. Он не любил отвечать на такие вопросы, потому что ответы на них всегда звучали глупо. Но полковник ждал.

— Потому что тапёр умер, господин полковник. И кто-то должен был это записать.

Полковник долго молчал. Потом сказал: «Ну, с Богом», и пожал ему руку, и в его рукопожатии было что-то такое, отчего Ведерников понял, что полковник ему завидует.

Через три недели он был в Харбине. Через месяц в полку. К августу — на Плешивой.

* * *

В Харбин санитарный поезд номер семь пришёл двадцать девятого августа, под вечер, под дождём.

Вокзал был новый, огромный, с часами на башне, весь в лесах, как будто его ещё не достроили, а уже начали ломать. По перрону бегали носильщики-китайцы с бамбуковыми коромыслами, санитары, жандармы в голубых мундирах, офицеры в дождевиках, дамы из благотворительных обществ с корзинами. Кто-то кричал фамилии. Кто-то плакал. Над всем этим стоял запах угля, мокрой шерсти и жареных пирожков с капустой, которые продавала прямо на перроне толстая баба в клеёнчатом фартуке.

Раненых офицеров выносили первыми. Ведерников отказался от носилок и пошёл сам. Тюрин двинулся следом, хотя голова у него была замотана так, что видно было только бороду и один глаз.

На перроне их уже ждали.

Перед ними стоял жандармский ротмистр, полный, румяный, с бакенбардами, в голубом мундире, мокром от дождя, и с ним двое унтеров. Ротмистр держал в руке список.

— Капитан Ведерников?

— Я.

— Ротмистр Брусенцов, полевое жандармское управление. Вас просят дать показания о ночном нападении на санитарный поезд. Сейчас, если позволите.

— Сейчас?

— Таково распоряжение.

Ведерников посмотрел на Тюрина. Тюрин стоял, держась за фонарный столб, и медленно бледнел.

— Фельдфебеля в госпиталь, — сказал Ведерников. — Сначала его. Потом я ваш, ротмистр.

Ротмистр Брусенцов открыл рот, посмотрел на Тюрина, закрыл рот и махнул унтерам. Тюрина увели. Ведерникова отвели в комнату дежурного по станции, маленькую, жарко натопленную, с портретом государя над столом и с непрерывно стучавшим телеграфным аппаратом в углу. Ротмистр сел за стол, разложил бумагу, обмакнул перо.

Ведерников рассказал всё. Как поезд встал. Как не было стрелочника. Как хунхузы бежали мимо, в хвост. Как он вышел на подножку и увидел русского капитана с пакетом, двух китайцев и сестру милосердия. Как стрелял, как русский капитан прикрылся сестрой и ушёл в гаолян. Как утром нашли поручика Овчинникова в белье.

Ротмистр записывал показания, изредка переспрашивал и поглядывал на часы.

— Значит, хунхузы, — сказал он наконец, откладывая перо. — Шайка хунхузов, с переодетым главарём. Таких дел у нас, капитан, по три в месяц. Они переодеваются в нашу форму, это их любимая шутка. Стаскивают с убитых, а у нас, знаете ли, убитых много.

— Человек с пакетом не был хунхузом.

— Простите?

— Тот, кто нёс пакет, ротмистр, был не хунхуз. Он говорил по-русски, как мы с вами. Лучше, чем мы с вами. И он знал, за чем шёл. Денежный ящик не тронули. Письма не тронули, только вспороли мешки, для вида. Взяли один пакет. Пакет фельдъегеря штаба армии. А фельдъегеря посадили в этот вагон в Ляояне, за час до отправки. Кто мог знать, что он там будет?

Ротмистр Брусенцов посмотрел на него очень спокойно, как смотрят на ребёнка или на сумасшедшего.

— Капитан, — сказал он. — Вы трое суток держали сопку. Вы ранены. Вы, простите, не спали, вероятно, неделю. Я понимаю. Но позвольте уж нам, жандармам, разбираться в жандармских делах.

— Речь не о разбое, ротмистр. Речь о шпионаже.

— Это решать не вам. И не мне. — Ротмистр сложил бумаги. — Ваши показания будут переданы по команде. Благодарю вас, капитан. Вас отвезут в госпиталь.

Ведерников встал. Плечо дёрнуло так, что потемнело в глазах, и он подождал, пока пройдёт, держась за спинку стула.

— Ротмистр, — сказал он. — Ещё одно. Сестра милосердия Смолина, Варвара. Из поезда. Она видела его в лицо, ближе, чем я. На три шага. Её допросили?

— Сестру? — Ротмистр улыбнулся. — Капитан, она девочка. Её допросят, если сочтут нужным.

— Её необходимо допросить сегодня. Пока воспоминания свежи.

— Девочки помнят всё, капитан, особенно то, чего не было. — Ротмистр надел фуражку. — Доброй ночи.

* * *

В госпиталь его отвезли на извозчике, по Новому городу, под дождём, по широким улицам, которые были ещё не улицы, а только просеки, размеченные колышками, с редкими каменными домами и с деревянными тротуарами, по которым никто не ходил. Новый город строили на пустом месте, по плану, и план был красивый, а города ещё не было. Были казённые дома железной дороги, собор на площади, деревянный, с шатром, как в северной деревне, и вокруг грязь.

Госпиталь занимал казармы охранной стражи, два длинных кирпичных корпуса, и ещё три барака, наскоро сколоченных во дворе. Офицерская палата была во втором корпусе, на втором этаже. Двадцать коек, двадцать тумбочек, окна на Сунгари, которой не было видно в дождь.

Ведерникову досталась койка у окна. Он сам выбрал её, лёг, не раздеваясь, и закрыл глаза. Почти сразу почувствовал, что кто-то стоит рядом.

Он открыл глаза.

Рядом стояла сестра милосердия Варвара Смолина. В чистом переднике и косынке, с тетрадкой в руках. Глаза у неё были сухие и злые.

— Вас перевели сюда? — спросил он.

— Я сама попросилась. Доктор Розен уехал обратно с поездом. Анна Фёдоровна сказала, что я могу остаться. Здесь нужны сёстры.

— А там?

— Там тоже. — Она помолчала. — Меня не допрашивали.

— Знаю.

— Ко мне подходил жандарм, на перроне. Толстый. Спросил, как меня зовут, и сказал, что меня вызовут. И ушёл. — Она сжала тетрадку. — Я хотела рассказать ему про клей. Он не стал слушать.

— Про какой клей?

Она рассказала. Про блеск под левым усом. Про край, отстающий на волосок. Про запах мастики, который она узнала бы среди тысячи запахов, потому что в гимназии на спектаклях от него потом три дня болела голова. Про чёрные пальцы под перчаткой. Про «благодарствуйте».

Ведерников слушал, не перебивая. Потом сказал:

— Повторите про пальцы.

— Большой, указательный и средний. На правой руке. Чёрные до первого сустава. Не грязь. Как будто обожжены чем-то. Но кожа не обожжена, гладкая.

— Вы уверены?

— Я уверена во всём, что видела, — сказала Варя. — У меня такая память. Отец говорит, что она меня погубит.

Ведерников посмотрел на неё долго.

— Варвара... как вас по батюшке?

— Николаевна.

— Варвара Николаевна. Вы никому больше этого не рассказывайте. Ни жандармам, ни сёстрам, ни Анне Фёдоровне. Хорошо?

— Почему?

— Потому что он вас видел. И он видел, что вы смотрите. А такие люди, — Ведерников закрыл глаза, потому что плечо снова дёрнуло, — такие люди, Варвара Николаевна, не любят, когда на них смотрят.

Она стояла ещё минуту. Потом он услышал, как она отошла, и как кому-то в другом конце палаты сказала строго: «Не курить, господин поручик, я кому сказала», и как поручик засмеялся и сказал: «Сестрица, вы строже моего полкового командира».

Ведерников лежал с закрытыми глазами и думал, что в этом поручик, пожалуй, прав. И ещё думал о чёрных пальцах. Он где-то уже видел такие. Давно. В Вильне, кажется. Или в Ярославле. Но где?

Вспомнить не удалось. Впервые за неделю он уснул. Ему снилась пустая, заросшая полынью сопка. Он стоял на вершине один и считал облака.

Глава 3

Подполковник

Часы подполковнику Глинскому подарили в среду, первого сентября, в половине восьмого вечера. Он на всю жизнь запомнил, что, принимая подарок, думал совсем о другом.

Подарок готовили неделю. К двадцать шестому августа штаб тыла армии уже перебрался из Ляояна в Харбин — с архивом, кассой и шифровальным отделением. Всё удалось вывезти, хотя последний эшелон уходил под японской шрапнелью. Эвакуацией распоряжался Глинский. Он трое суток не спал, сам грузил ящики, стоял с револьвером у вагона с кассой, когда толпа обозных попыталась штурмовать поезд, и последним, уже на ходу, вскочил на площадку с железной шкатулкой секретной переписки под мышкой. Офицеры штаба всё это видели. Потому и скинулись.

Скидывались все, от генерала до вольноопределяющихся. Генерал дал двадцать пять рублей. Полковники по десять. Капитаны по пять. Вольноопределяющийся Корф, девятнадцати лет, писарь секретного отделения, тоже дал пять рублей, хотя у него их не было: он занял у товарища по канцелярии, вольноопределяющегося Шульца, под честное слово до первого числа, и Шульц, человек добрый, но точный, записал это в книжечку.

Часы заказали у часовщика Бера на Пристани. Золотые, швейцарские, с репетиром, с двумя крышками. На внутренней крышке выгравировали: «С. Г. от сослуживцев. Ляоян, 1904». Бер гравировал сам, всю ночь, и сказал, что сделал бы и бесплатно, потому что слышал про шкатулку.

Часы вручали в малой гостиной офицерского собрания — без музыки, но с шампанским. Генерал произнёс короткую речь. Говорить он не любил и сам это знал, поэтому ограничился несколькими словами: «Сергей Андреевич, вы нас всех вывезли. Это от всех». И протянул футляр.

Глинский открыл футляр. Посмотрел на часы, прочёл надпись, закрыл крышку. Сказал: «Благодарю, господа». Голос не дрогнул. Потом он долго стоял с часами на ладони, и все решили, что подполковник растроган.

Подарок действительно тронул его. Но мысли возвращались к серому пакету с пятью печатями, пропавшему одиннадцать дней назад из почтового вагона санитарного поезда номер семь у разъезда Сяошань.

* * *

Подполковнику Отдельного корпуса жандармов Сергею Андреевичу Глинскому шёл пятьдесят третий год. Высокий, сухощавый, с коротко стриженными седыми волосами и аккуратными седыми усами, он смотрел на собеседника глазами, которые при одном освещении казались серыми, при другом — голубыми. Голубой мундир носил как старый сюртук: привычно, без всякой гордости. Происходил из небогатых смоленских дворян, окончил Академию Генерального штаба, служил в армии, затем перешёл в корпус. Почему — никто не знал наверняка, даже его сестра, учительница в Твери.

Сестре он однажды сказал: «Потому что в армии, Аня, врага видно. А в корпусе его надо искать. Мне интереснее искать».

В Харбин он приехал в июне, через месяц после того, как подал по начальству рапорт, о котором теперь старался не думать. Рапорт касался одного дела в Москве и одного молодого человека, студента Технического училища Мити Кольцова, двадцати лет, сына сельского учителя из Калужской губернии. В феврале на пути сущёвского пристава нашли бомбу, завёрнутую в «Русские ведомости», Кольцова взяли, Московский военно-окружной суд приговорил

его к смерти, и второго мая приговор привели в исполнение. Глинский писал в рапорте, четырнадцатого мая, уже после казни, что бомбу Кольцову снарядили. Что снаряжали её не в Москве, а под Петербургом, на даче в Павловске. Что человек, который снимал эту дачу, был известен Департаменту полиции под кличкой «Артист» и получал жалованье по особой статье. Рапорт ушёл в Департамент. Из Департамента он вернулся через десять дней с резолюцией на полях, синим карандашом, мелким, острым почерком: «Оставить без последствий». И с инициалами. Буква «д» в слове «последствий» была выведена с петлёй, с длинной, изящной петлёй под строкой, какую пишут люди, которые любят, чтобы их почерк замечали.

Через месяц подполковника Глинского командировали в Маньчжурию, в действующую армию, для организации секретной части при штабе тыла. Война, нужны опытные офицеры.

Копию рапорта Глинский привёз с собой, убрал в ящик стола и запер. Больше к нему не притрагивался.

* * *

В кабинет он вернулся в девятом часу. Тот помещался на втором этаже управления дороги, в угловой комнате с двумя окнами на Большой проспект. Здесь стояли печка и несгораемый шкаф; на стенах висели портрет государя и испещрённая карандашными пометками карта Маньчжурии. В приёмной, за конторкой, при лампе сидел вольноопределяющийся Корф и переписывал набело донесения.

Корф был длинный, как жердь, с длинным носом и с белыми, совершенно белыми ресницами, как у поросёнка, отчего глаза его казались голыми и всё время удивлёнными. Он происходил из курляндских баронов, обедневших до такой степени, что у его отца в Митаве осталась только фамилия и библиотека, и пошёл на войну вольноопределяющимся, потому что, как он объяснил Глинскому на первом же допросе, то есть собеседовании, «барону неприлично служить в конторе, а на войне можно служить где угодно, и это будет называться подвигом». Говорил он так, будто читал по книге: правильно, длинно и с придаточными предложениями. Почерк у него был каллиграфический, без единой помарки, и именно за почерк Глинский взял его в секретное отделение.

— Господин подполковник, — сказал Корф, вставая. — Позвольте поздравить. Я не имел возможности сделать это в собрании, поскольку не был приглашён в силу своего звания, но я принимал участие в подписке.

— Знаю, Корф. Пять рублей. — Глинский улыбнулся. — Шульц мне показал свою книжечку. Вы ему должны.

Корф покраснел до корней волос, вместе с ресницами.

— Я отдам первого числа, господин подполковник. Слово барона.

— Я не сомневаюсь. — Глинский прошёл к себе, снял фуражку, сел за стол. — Корф. Принесите мне дело о нападении на санитарный поезд. Всё, что есть. И рапорт Брусенцова.

— Рапорт ротмистра Брусенцова получен сегодня в шесть часов, господин подполковник. Я позволил себе его прочесть, поскольку он адресован в отделение. — Корф уже нёс папку. — Позвольте заметить, господин подполковник, что ротмистр Брусенцов полагает дело законченным.

— Ротмистр Брусенцов полагает законченными все дела, которые начались после шести вечера. — Глинский раскрыл папку. — Идите спать, Корф.

— Я предпочёл бы остаться, господин подполковник, если позволите. Мне нужно закончить сводку.

— Как хотите.

Корф вышел. Глинский надел пенсне и начал читать.

* * *

Рапорт ротмистра Брусенцова занимал четыре листа. Написан он был гладко, казённо, с неизменными «каковой» и «таковой». Из него следовало вот что.

В ночь на двадцать первое августа санитарный поезд номер семь, шедший из Ляояна на Харбин, был остановлен у разъезда Сяошань шайкой хунхузов численностью от двадцати до сорока человек. Стрелочник разъезда, китаец Лю, был связан и заперт в будке; стрелка переведена на тупик, вследствие чего поезд остановился. Хунхузы атаковали прицепленный к поезду почтовый вагон полевой почтовой конторы номер четыре. Убиты: чиновник Зуев, рядовые конвоя Кислицын и Горбунов, а также находившийся в вагоне фельдъегерь штаба армии поручик Овчинников, чьё тело обнаружено в гаоляне без верхнего платья. Похищен один пакет, вверенный поручику Овчинникову. Денежный ящик не тронут. Санитарный поезд не пострадал. Главарь шайки, переодетый в форму русского офицера, вероятно, снятую с поручика Овчинникова, скрылся. Один хунхуз убит раненым капитаном Ведерниковым девятнадцатого Восточно-Сибирского стрелкового полка. По мнению нижеподписавшегося, нападение имело целью грабёж, а похищение пакета есть случайность, поскольку хунхузы приняли пакет за денежный. Розыск шайки поручен охранной страже.

Глинский прочёл рапорт дважды. Потом снял пенсне и положил его на стол.

«Хунхузы приняли пакет за денежный».

А денежный ящик, с ключом на шее у мёртвого Зуева, не тронули. Потому что не поняли, что он денежный. Да.

Он открыл несгораемый шкаф, достал из него тонкую папку, на которой его рукой было написано «№ 7, Овчинников», и положил рядом с рапортом.

Он знал, что было в пакете. Он знал это лучше, чем Брусенцов, лучше, чем кто бы то ни было в Харбине, кроме генерала, потому что сам составлял опись. В пакете были две вещи. Первая: новые шифровальные таблицы для переписки штаба армии с корпусами и с тылом, на сентябрь и октябрь, в одном экземпляре, для передачи в шифровальное отделение в Харбине. Вторая: список. Сорок с лишним китайских фамилий, с адресами, с деревнями, с кличками. Агенты разведочного отделения штаба армии в тылу у японцев, в Ляодуне, в Инкоу, в Ляояне, в Хайчэне. Торговцы, лодочники, кули, монахи, один учитель. Люди, которые полгода носили русским сведения о японских полках, о японских складах, о японских орудиях, и которых теперь, после того как японцы вошли в Ляоян, нельзя было оставлять в Ляояне в бумагах.

Список везли в Харбин, чтобы спрятать. Шифр везли в Харбин, чтобы ввести.

Ни то, ни другое не доехало.

Глинский сидел и смотрел на две папки, и в голове у него было пусто и холодно.

Если пакет взяли хунхузы, приняв за денежный, то, не найдя денег, выбросят его. Или сожгут. Или продадут на Пристани за полтинник китайскому меняле. Тот перепродаст бумаги, и через месяц они окажутся у японцев. Тогда китайских торговцев, лодочников и монахов начнут вешать.

А если пакет взяли не хунхузы...

Он поднял голову.

— Корф!

Корф вошёл немедленно. Он, видимо, стоял за дверью.

— Господин подполковник?

— Кто знал, что поручик Овчинников поедет в почтовом вагоне санитарного поезда?

Корф моргнул белыми ресницами.

— Господин подполковник, из рапорта следует, что поручик Овчинников был посажен в почтовый вагон в последний момент, ввиду отсутствия других мест.

— Это из рапорта следует. А на деле? Корф, вы ведь были в Ляояне, на станции. До последнего эшелона. Вы видели Овчинникова?

Корф задумался. Он думал, как писал: медленно и тщательно.

— Я видел поручика Овчинникова, господин подполковник, около семи часов вечера двадцатого числа, на перроне. Он стоял с пакетом и спрашивал коменданта станции, на какой

эшелон ему садиться. Комендант сказал, что все эшелоны заняты и что ему следует обратиться в штаб тыла. Тогда поручик пошёл к штабному вагону. Через некоторое время я видел, как он шёл обратно, вместе с каким-то офицером, и они направлялись к санитарному поезду.

— С каким офицером?

— Не могу знать, господин подполковник. Было уже темно, и я был занят погрузкой вашей шкатулки. Это был офицер в шинели, в фуражке. Невысокий. Или высокий. Простите, господин подполковник. Я не обратил внимания.

— Интендант? Строевой? Штабной?

— Не могу знать.

Глинский помолчал.

— Значит, кто-то в штабе тыла посадил Овчинникова в санитарный поезд. А кто-то другой знал об этом до того, как поезд ушёл, и успел дать знать хунхузам. И перевести стрелку на разъезде, который поезд должен был пройти через шесть часов. — Он встал и подошёл к карте. Нашёл Сяошань. Тонкая линия железной дороги, крошечный кружок разъезда. — От Ляояна до Сяошаня сто двадцать вёрст. Конный нарочный не успел бы. Телеграф?

— Телеграф в ту ночь был занят исключительно военной перепиской, господин подполковник.

— Значит, военной перепиской. — Глинский смотрел на карту. — Или он знал раньше. Ещё днём знал, что пакет повезут санитарным поездом, что поезд уйдёт ночью, а почтовый вагон прицепят в хвост. Значит, всё решили заранее, Корф. А нам сказали — в последний момент.

Корф стоял у двери и молчал. Белые ресницы у него не двигались.

— Позвольте спросить, господин подполковник, — сказал он наконец. — Что было в пакете?

Глинский обернулся. Посмотрел на него долго.

— Вам не нужно этого знать, Корф.

— Слушаюсь, господин подполковник.

— Это не недоверие. Это для вашей же пользы. Чем меньше знаешь, тем меньше могут у тебя спросить.

— Я понимаю, господин подполковник. — Корф помолчал. — Тем не менее, если позволите, я хотел бы заметить, что я давал присягу.

— Все давали присягу, Корф. Поручик Овчинников тоже давал. — Глинский вернулся к столу. — Найдите мне в рапорте Брусенцова, где лежит раненый капитан, который стрелял в хунхуза.

Корф взял рапорт, пробежал глазами, хотя, вероятно, помнил его наизусть.

— Капитан Ведерников, девятнадцатого Восточно-Сибирского стрелкового. Сводный госпиталь Красного Креста, офицерская палата, второй корпус. В рапорте указано, господин подполковник, что капитан находился в возбуждённом состоянии и высказывал соображения, не относящиеся к делу.

— Какие соображения?

— Ротмистр Брусенцов их не записал. Ввиду того, что они не относились к делу.

Глинский засмеялся. Корф посмотрел на него с удивлением, потому что подполковник смеялся редко.

— Корф, — сказал Глинский. — Запомните. Если когда-нибудь вам доведётся вести дело, и вам скажут, что свидетель высказывал соображения, не относящиеся к делу, то первым делом идите к этому свидетелю. Потому что все остальные уже высказали соображения, относящиеся к делу, и все они неправильные.

— Слушаюсь, господин подполковник. Я запомню.

— Завтра в девять поедем в госпиталь. Закажите извозчика.

— Слушаюсь.

Корф вышел. Глинский остался один.

Он достал из кармана новые часы. Открыл крышку. Прочитал надпись ещё раз. «С. Г. от сослуживцев. Ляоян, 1904». Часы шли ровно, тихо, мерно. Бер, как обещал, завёл их перед тем, как отдать.

Глинский подумал, что сослуживцы подарили ему часы за то, что он вывез из Ляояна шкатулку. А то, что действительно нужно было вывезти, он не вывез. И никто из сослуживцев этого не знает.

Он не знал ещё, что через пять лет, умирая в траве у амбара над Окой, в Нижнем Новгороде, будет держать за рукав человека, которого увидит завтра впервые, и что часы эти будут у него в кармане. Он вообще не любил думать о будущем. Он считал, что будущее, как и прошлое, надо не угадывать, а расследовать.

Он закрыл часы, положил их в жилетный карман и снова надел пенсне.

В приёмной всё ещё горела лампа, и Корф скрипел пером. Глинский прислушался к этому скрипу. Ровный, мерный, без помарок. Хороший мальчик, подумал он. Старательный. Надо будет отдать ему пять рублей, чтобы он не мучился до первого числа. Нет, нельзя: обидится. Бароны обидчивы.

Он подумал ещё и решил, что первого числа просто прибавит ему жалованья. Из сумм секретного отделения. На пять рублей.

Потом он вернулся к рапорту ротмистра Брусенцова и стал читать его в третий раз, медленно, по слову, как читают шифровку. И на третий раз нашёл то, чего не заметил прежде.

«...рядовые конвоя Кислицын и Горбунов, оба застрелены в упор...»

В упор. Два конвойных с винтовками, в запертом изнутри вагоне, подпустили к себе человека в упор. Ночью. Во время налёта.

Значит, они ему открыли сами.

Значит, он постучал, и они увидели в окошко русского офицера, и открыли.

Значит, когда хунхузы ещё лежали в гаоляне, он уже был в форме поручика Овчинникова. А поручик Овчинников, значит, к тому времени был уже мёртв, в двухстах шагах от насыпи, в одном белье.

Значит, этот человек ехал в поезде.

Глинский снял пенсне и долго тёр переносицу.

Этот человек ехал в санитарном поезде номер семь, с ранеными, с сёстрами милосердия, с доктором Розеном. Как один из них. Он сел в Ляояне. Он ехал шесть часов. А потом сошёл на разъезде Сяошань, в чужом мундире, и исчез в гаоляне.

И где-то в этом поезде, среди двадцати двух вагонов, должен был быть человек, который видел его до того, как он надел этот мундир.

Он поднял голову и посмотрел на окно. За окном было темно. Над Большим проспектом, над деревянными тротуарами, над колышками будущих улиц шёл дождь, и где-то далеко, на Пристани, у Сунгари, гудел пароход.

Стрелки показывали половину двенадцатого. До девяти утра оставалось девять с половиной часов. Ведерников захлопнул часы.

Глава 4

Госпиталь

Подполковник явился в госпиталь ровно в девять. Пол в палате ещё не высох после мытья. Из распахнутых окон тянуло сыростью Сунгари, рыбой и угольным дымом пароходов.

Ведерников заметил его ещё в коридоре: высокий, сухощавый, седой, в голубом мундире, с пенсне на шнурке. Следом шагал нескладный вольноопределяющийся с портфелем. Дежурная сестра вскочила. Подполковник негромко спросил её о чём-то, и она указала на угловую койку.

— Капитан Ведерников? — Подполковник остановился у койки. — Глинский. Секретное отделение штаба тыла. Не вставайте.

Ведерников приподнялся на койке, но вставать не стал.

— Слушаю, господин подполковник.

— Это я вас слушаю. — Глинский огляделся, придвинул табурет от соседней койки, на которой спал поручик с перебитыми ногами, укрывшись с головой, и сел. — Вчера вы рассказывали ротмистру Брусенцову о нападении на поезд. Он записал, что вы высказали соображения, не относящиеся к делу. Вот их я и пришёл выслушать.

Ведерников посмотрел на него. Потом на вольноопределяющегося, который стоял за спиной подполковника и уже раскрыл портфель и достал из него блокнот и карандаш. У вольноопределяющегося были почти белые ресницы. Он смотрел на Ведерникова не мигая.

— Это Корф, — сказал Глинский. — Он будет записывать. Он записывает лучше всех в Маньчжурии. И он умеет молчать.

— Я умею молчать, господин капитан, — подтвердил Корф. — Это моё единственное достоинство, если не считать почерка.

Ведерников впервые за неделю усмехнулся.

И Ведерников рассказал всё заново — подробнее, чем Брусенцову. О том, как поезд остановился, а стрелочника не оказалось на месте. Как хунхузы промчались мимо классных вагонов прямо к хвосту состава, словно заранее знали, куда бежать. Как русский капитан с пакетом шёл не торопясь и говорил с сестрой ласково, почти по-отечески. Как спросил Ведерникова, левша ли он: заметил перевязь, понял, в какой руке револьвер, и всё рассчитал. И о поручике Овчинникове, которого ударили ножом в спину, а затем раздели до последней вещи, даже сапоги сняли.

— И что из этого следует, капитан? — спросил Глинский.

— Что это был не хунхуз. И не русский дезертир, которых по Маньчжурии теперь немало. Дезертир взял бы деньги. А этот взял пакет. Один пакет. Значит, знал, что в нём.

— Или знал, кто его везёт.

— Или так.

— И что вы думаете, кто он?

Ведерников помолчал.

— Я, господин подполковник, пехотный офицер. Думать мне не положено. Мне положено держать сопку.

— Вы её держали. Трое суток. Я читал донесение вашего полкового командира. Он пишет, что рота капитана Ведерникова, оставленная без поддержки, удержала высоту сто пятьдесят один, чем обеспечила отход двух батальонов, и что командир роты представлен к Владимиру с мечами. Ваш полковой командир, капитан, не очень грамотный человек, но в этом

донесении я не нашёл ни одной ошибки. — Глинский поправил пенсне. — Так что вам уже положено думать. Вы заработали. Так кто он?

— Японец, — ответил Ведерников.

Корф перестал писать и поднял голову. Глинский не шевельнулся.

— Почему японец?

— Потому что он говорил по-русски слишком правильно. Русские глотают окончания, сливают слова. А он выговаривал каждое — так говорит человек, который превосходно выучил чужой язык, но не слышал его с колыбели. И ещё... — Ведерников помолчал. — Он сказал сестре «благодарствуйте».

— Это я знаю.

— Откуда?

— Мне сказала сестра Смолина. Сегодня, в семь утра, когда я пришёл в госпиталь в первый раз. — Глинский улыбнулся. — Вы думали, я пришёл в девять? Я пришёл в семь, капитан. Вы спали. А сестра Смолина не спала, она дежурила. И она мне всё рассказала. Про усы на клею. Про чёрные пальцы. Про «благодарствуйте». Она сказала, что вы велели ей никому не рассказывать, ни жандармам, ни сёстрам, ни Анне Фёдоровне. А я спросил: а подполковникам? И она подумала и сказала, что про подполковников вы ничего не говорили.

Ведерников посмотрел в другой конец палаты. Сестра Смолина стояла у койки поручика с забинтованной грудью и мерила ему температуру. Она не смотрела в их сторону. Она стояла к ним спиной, прямо, словно на смотре, и по этой спине Ведерников понял, что она слышит каждое слово.

— Она права, господин подполковник. Про подполковников я ничего не говорил.

— Вот и хорошо. — Глинский снял пенсне и стал протирать его платком. — Теперь слушайте меня, капитан. Я вам скажу то, чего не знает ротмистр Брусенцов. Человек с пакетом ехал в вашем поезде. От самого Ляояна.

Ведерников ждал.

— Конвойных в почтовом вагоне застрелили в упор. Значит, они открыли ему сами. Значит, он был уже в мундире поручика Овчинникова, когда постучал. Значит, Овчинникова он убил раньше, чем хунхузы вышли из гаоляна. А убить Овчинникова в гаоляне, в двухстах шагах от насыпи, можно было только одним способом: выманить его из вагона. На остановке. Поезд стоял на разъезде, пока стрелочник был связан, а хунхузы ждали сигнала. Минут десять, может быть, пятнадцать. За эти пятнадцать минут кто-то подошёл к почтовому вагону, постучал, вызвал Овчинникова, отвёл его в гаолян и убил. А Овчинников вышел, потому что тот, кто его вызвал, был ему знаком. Или казался знакомым. Или имел право его вызвать.

— Офицер из поезда.

— Офицер из поезда. Раненый. Один из ваших. Он сел в Ляояне, ехал шесть часов в одном из классных вагонов, а на разъезде вышел, будто бы по нужде, и больше не вернулся. — Глинский надел пенсне. — Сестра Смолина говорит, что в её вагоне, в первом, все двадцать шесть офицеров доехали до Харбина. Она знает их всех. Значит, он ехал во втором.

— Во втором вагоне была Анна Фёдоровна, — сказал Ведерников.

— Да. Старшая сестра. Я с ней ещё не говорил. Она в бараке, у тифозных. — Глинский встал. — Пойдёте со мной, капитан?

— Мне нельзя вставать, господин подполковник. Доктор запретил.

— Я знаю. — Глинский посмотрел на него сверху вниз. — Так пойдёте?

Ведерников встал.

* * *

Старшая сестра Анна Фёдоровна Голубева была сухощавой женщиной лет пятидесяти, смуглой, с суровым, словно на старой иконе, лицом и огрубевшими от работы руками. Она служила сестрой милосердия ещё со времён турецкой войны, со времён Плевны. Смертей, по её

словам, повидала столько, что перестала их считать. Её заботили живые: капризные, неблагодарные, курившие в палатах и норовившие встать раньше времени. Мёртвые хлопот не доставляли.

Из тифозного барака Анна Фёдоровна вышла с мокрыми от карболки руками. Одного её взгляда хватило, чтобы Ведерников почувствовал себя кадетом, застигнутым с папиросой.

— Вы что здесь делаете, капитан? Вам лежать.

— Он со мной, сестра, — сказал Глинский.

— С вами он или без вас, а ему лежать. — Анна Фёдоровна вытерла руки о передник. — Что вам нужно, господин подполковник? Я занята.

— Вы ехали во втором классном вагоне санитарного поезда номер семь. В ночь на двадцать первое. Мне нужно знать, сколько офицеров было в вашем вагоне и сколько из них доехало до Харбина.

Анна Фёдоровна не задумалась ни на секунду.

— Был тридцать один. Доехали двадцать девять. Один умер под Куанчэнцзы, штабс-капитан Гаврилов, гангрена, я его предупреждала. Один пропал.

— Пропал?

— Пропал. На разъезде, ночью, когда эти ироды налетели. Вышел, говорят, по нужде, до того ещё, как поезд встал как следует, и больше его не видели. Казаки утром гаолян обшарили, не нашли. Решили, что его хунхузы увели. Или убили и закопали. Они это любят.

— Кто он был?

— Штабс-капитан. — Анна Фёдоровна подумала. — Лаврентьев. Из стрелков, не помню какого полка. Ранен в голову и в лицо, шрапнелью. Вся голова в бинтах, только глаза и рот. Я его сама перевязывала, в Ляояне, на перроне. Его принесли на носилках, последним, перед самой отправкой. Санитары принесли, сказали: штабс-капитан Лаврентьев, тяжёлый, вези, мать.

— Вы видели его лицо?

— Как же я его видела, если лицо в бинтах? — Анна Фёдоровна посмотрела на Глинского как на непонятливого. — Я повязку не снимала. В Ляояне наложили, в перевязочном пункте. Хорошо наложили: туго, грамотно. Я ещё подумала — наверное, сам доктор Кениг работал, у него такая рука. Только проверила, не промокла ли повязка.

— Промокли?

Анна Фёдоровна помолчала. Она смотрела мимо Глинского, на мокрую поленницу у барака. Лицо её постепенно менялось.

— Нет, — сказала она. — Не промокли. Сухие были. Совсем. — Она перевела взгляд на подполковника. — Я тогда ещё удивилась. Шрапнель в лицо, а бинты сухие. Подумала, что, может, царапина, а бинтов наверчено от страху. Бывает. Молодые, бывает, боятся за лицо больше, чем за ногу.

— Он говорил что-нибудь?

— Говорил. Мало. Воды просил. Я ему дала. Он выпил и сказал... — Она остановилась. — Господи. Он сказал «благодарствуйте, сестрица». Я ещё подумала, какой вежливый. Сейчас так никто не говорит. Офицеры, они больше «мерси».

Глинский бросил взгляд на Ведерникова.

— А руки? — спросил Ведерников. — Анна Фёдоровна, руки у него вы видели?

— Руки... — Она задумалась. — В лайковых перчатках был. Я хотела снять, а он не позволил. Сказал, руки тоже ранены, обожжены, перчатки на ожоги надеты, трогать нельзя. Я и оставила. Бывает, на обожжённые руки надевают перчатки, чтобы повязки не пачкать.

— Обожжены, — повторил Глинский.

Анна Фёдоровна посмотрела на него долго. За годы службы она научилась распознавать ложь — особенно когда речь заходила о ранах и болезнях.

— Это он и был, — сказала она. — Да? Тот самый. С пакетом.

— Похоже на то, сестра.

— Он ехал со мной шесть часов. — Голос её стал глухим. — Я ему воду давала. Я ему подушку поправляла. А у меня в вагоне были ранены в живот, их надо было... — Она не договорила и поджала губы. — Что вам ещё нужно, господин подполковник?

— Всё, что вы помните. Рост. Голос. Как держал голову. Какие сапоги.

— Высокий. Худой. Голос мягкий. Сапоги... хромовые, хорошие. Чистые. — Она осеклась. — Чистые, господин подполковник. Будто с поля боя привезли, а сапоги словно только что вычищены. Дура я старая. Двадцать семь лет с ранеными, а этого не заметила.

— Вы не дура, сестра. Вы смотрели на раны. Это ваше дело. А мы смотрим на сапоги. Это наше. — Глинский поклонился ей, по-старинному, коротко. — Благодарю вас.

При слове «благодарю» Анна Фёдоровна вздрогнула. Кивнула и скрылась в бараке. Дверь захлопнулась.

* * *

В палату они вернулись вместе. Добравшись до койки, Ведерников тяжело опустился на неё. Перед глазами плыло. Сестра Смолина принесла воду в жестяной кружке и молча осталась рядом. По её лицу он видел: она едва удерживается, чтобы не сказать «я же говорила».

— Корф, — сказал Глинский. — Штабс-капитан Лаврентьев. Узнайте, какой полк, где ранен, жив ли, когда и кем принесён на перевязочный пункт. Узнайте у доктора Кенига, кто накладывал бинты. Телеграфируйте в Мукден, в штаб корпуса, сегодня.

— Слушаюсь, господин подполковник. Позвольте заметить, что телеграф в Мукден ныне загружен военной перепиской.

— Значит, найдётся место ещё для одной. — Глинский повернулся к Ведерникову. — Ну что, капитан. Теперь вы знаете, что он ехал в вашем поезде. В соседнем вагоне. Шесть часов.

— Я уверен, господин подполковник, что он японец. — Ведерников отпил воды. — Только японец мог догадаться: лицо под бинтами никто разглядывать не станет. Мы бы на его месте приклеили бороду с усами и сочли дело сделанным. А он спрятал лицо целиком. Знал, что иначе не сойдёт за русского.

— Почему вы думаете, что не наше? Сестра Смолина говорит, что лицо было русское.

— Ночью. При фонаре. С усами. — Ведерников поставил кружку. — Варвара Николаевна, вы сказали: лицо русское, ничего особенного. Высокий лоб, прямой нос, тёмные брови. А глаза?

Варя, казалось, ждала вопроса.

— Глаз я не видела. Он стоял так, что фонарь светил снизу, и глаза были в тени. Я видела только лоб, нос и усы. И руку.

— Вот. — Ведерников посмотрел на Глинского. — Глаз она не видела. Он так встал.

Глинский молчал. Потом сказал:

— Капитан. Сколько вы ещё будете здесь лежать?

— Доктор говорит, месяц. Осколок будут вынимать. Потом ещё месяц. Потом в полк.

— В полк вы не поедете.

Ведерников поднял голову.

— Я знаю, почему вы оказались в Маньчжурии, капитан. Ваш формуляр прислали мне из Вильны. Я запросил его ещё в июле, когда увидел вашу фамилию среди переведённых. Видите ли, я собираю такие дела. — Глинский усмехнулся. — Дела людей, которых отправляют в Маньчжурию за то, что они написали «убийство» там, где пристав указал «случайный выстрел». Таких офицеров в русской армии меньше, чем Георгиевских кавалеров. И мне их не хватает.

— Господин подполковник, я пехотный офицер.

— Были. Трое суток вы держали сопку, о которой забыл штаб. Держали потому, что получили приказ, и потому, что считали своих людей. Вы и теперь их считаете — вижу, как

шевелятся губы. А мне нужен человек, способный удержать высоту, о которой забыли все, и заметить тех, кого никто не видит. — Глинский поднялся. — Вы мне нужны, капитан. Когда вас выпишут, приходите. Управление дороги, второй этаж, угловая комната. Корф встретит.

— А если я не приду?

— Придёте, — сказал Глинский. — Вы уже идёте. Вы встали, когда вам было нельзя.

Он кивнул Корфу и пошёл к двери. На полдороге остановился и обернулся.

— Сестра Смолина.

— Да, господин подполковник?

— Вы дежурите по ночам?

— Через ночь.

— Не выходите одна из госпиталя. Ни в город, ни на Пристань, ни в церковь. Если нужно выйти, берите с собой санитара. Лучше двух.

Варя побледнела. Но спросила твёрдо:

— Почему?

— Потому что вы видели его руки, сестра. И он видел, что вы видели. — Глинский помолчал. — А руки, видите ли, единственное, чего он не может переклеить.

Глинский вышел. Корф последовал за ним, убирая блокнот в портфель. У двери он оглянулся на Варю, чуть приоткрыл рот, но так ничего и не сказал.

* * *

Вечером, когда в палате зажгли лампы, Варя пришла снова. Ведерников не спал.

— Вы ему всё рассказали, — сказал он.

— Вы мне про подполковников ничего не говорили.

— Не говорил.

Она осталась у койки, сжимая тетрадку. Наконец заговорила:

— Мне не страшно. Вы не думайте. Мне не страшно.

— Я знаю.

— Откуда?

— Если бы вам было страшно, вы бы не вышли на насыпь. — Ведерников посмотрел на неё. — Варвара Николаевна. Можно я вас спрошу?

— Спрашивайте.

— Вы сказали, что в гимназии гримировали актёров. Вы хорошо это умеете?

— Хорошо. — Она ответила просто, без кокетства. — Лучше всех в Иркутске. У нас на Рождество ставили «Ревизора», и я сделала Хлестакова из девочки из шестого класса, и её родная мать не узнала.

— А вы бы узнали? Если бы кто-то сделал так другого человека? Вы бы поняли, что это грим?

Варя подумала.

— Если бы он стоял близко и при хорошем свете, поняла бы. Всегда что-нибудь видно. Край. Блеск. Цвет кожи под гримом другой. И ещё... — Она помолчала. — Человек в гриме иначе двигает лицом. Он его бережёт. Не улыбается широко, не морщит лоб. Как будто носит на лице что-то хрупкое. Это видно, если знаешь.

— А он берёг?

— Да. — Она вспомнила. — Да. Он улыбнулся, когда вы вышли на подножку. Но только губами. Щёки не двинулись. Я тогда не подумала, а сейчас...

— А теперь вспомнили.

— Я всё помню, — сказала Варя. — Это моё несчастье.

Она поправила ему одеяло, которое снова не сбилось, и ушла. Ведерников лежал и думал о человеке, который бережёт своё лицо. Который ехал шесть часов в бинтах, с сухими повяз-

ками, в лайковых перчатках, и пил воду из рук старшей сестры, и благодарил её. Который потом вышел в ночь, позвал поручика Овчинникова в гаолян и убил его одним ударом в спину.

Ведерников закрыл глаза. Перед ним один за другим возникали погибшие.

Двое конвойных. Чиновник Зуев. Поручик Овчинников. Штабс-капитан Лаврентьев, который, скорее всего, тоже мёртв, потому что кому-то понадобилась его фамилия.

И сестра милосердия, которая видела его руки.

Ведерников открыл глаза. В другом конце палаты, у лампы, сидела Варя и писала что-то в тетрадку. Голова её была наклонена, и свет падал на косынку, на щёку, на руку с пером.

Он смотрел на неё долго. Потом заставил себя отвернуться к окну.

За окном, внизу, под горой, у самой Сунгари, горели огни Пристани.

Глава 5

Пристань

Шестого сентября доктор Цейтлин извлёк осколок. Зазубренный, размером с ноготь большого пальца, тот звякнул о металлическое блюдечко. Доктор Цейтлин промыл его и протянул Ведерникову.

— Возьмите на память, капитан. За месяц я извлёк их не меньше двух сотен, но такой причудливый край вижу впервые.

Ведерников повертел осколок в пальцах, поблагодарил доктора и спрятал находку в карман халата. Странно было держать на ладони кусок железа, едва не оборвавший его жизнь.

Две недели он лежал, как ему велели. Он лежал и считал. Потолочные балки: девятнадцать. Койки в палате: двадцать. Шаги сестры Смолиной от двери до его окна: тридцать четыре, если она шла спокойно, и двадцать шесть, если торопилась. Она торопилась чаще. Офицеров в палате было много, а сестёр мало, и доктор Цейтлин говорил, что если так пойдёт дальше, он будет перевязывать раненых сам, а сестёр положит на койки, потому что они упадут первыми.

Варя держалась на ногах. С утра до ночи обходила палаты, через ночь дежурила, ела наспех и всё что-то записывала в тетрадку. Офицеры её побаивались. Поручик Шереметев, которого она однажды застала с папиросой, прозвал её «нашим генерал-губернатором». Варя не возражала.

С Ведерниковым она почти не разговаривала. Меняла повязку, мерила температуру, делала запись и шла к следующему больному. Лишь на третий день после операции, когда у него поднялся жар и он принялся вслух считать потолочные балки, она присела рядом. Он помнил скрип табурета и прохладу её ладони на лбу. Утром Вари не было, и он не знал, случилось ли это наяву.

Глинский не появлялся. Зато через день, ровно в четыре пополудни, приходил Корф. Он ставил портфель у табуретки, раскрывал блокнот и докладывал.

Штабс-капитан Лаврентьев, Иван Сергеевич, двадцать второго Восточно-Сибирского стрелкового полка, убит девятнадцатого августа при обороне передовой позиции у деревни Мадзятунь. Тело не найдено. Позиция была оставлена, тела убитых остались на ней. Полк значит его пропавшим без вести, но очевидцы видели, как он упал, сражённый пулей в голову. Документы его находились при нём.

Доктор Кениг, старший врач передового перевязочного пункта, телеграфировал, что двадцатого августа на пункт, по его записи, доставлено сто восемьдесят шесть раненых офицеров и нижних чинов, и что штабс-капитана Лаврентьева среди них в записях нет. Повязку на лицо и голову, о которой его спрашивают, он не накладывал. Он вообще не накладывал в тот день повязок на лицо, так как в тот день поступали главным образом раненные в ноги и в живот.

Санитары, принёсшие носилки к санитарному поезду, не установлены. В ту ночь на станцию Ляоян носили раненых сорок восемь санитаров из трёх полков и из Красного Креста.

— Значит, перевязался сам, — сказал Ведерников. — Лёг на носилки, нанял двух китайцев, выдал их за санитаров. И те пронесли его прямо к поезду.

— Это предположение подполковника, — сказал Корф, кивнув. — Подполковник также полагает, что за этим человеком стоит организация. Человек, действующий в одиночку, не может знать о времени отправки фельдъегеря и одновременно располагать шайкой хунхузов в ста двадцати вёрстах.

— Что ещё сказал Глинский?

— Что вам пора выписываться, господин капитан. — Корф захлопнул блокнот. — Но настаивать не велел. Решение за вами.

* * *

Ведерников выписался двадцатого сентября. Точнее, двадцатого сентября он сам ушёл из госпиталя, а документы оформили задним числом, потому что доктор Цейтлин, увидев его утром одетым, в шинели внакидку, с рукой на перевязи, только развёл руками и сказал: «Капитан, у меня нет полиции, чтобы вас держать. Идите. Но если плечо загноится, я вас обратно не возьму, будете лечиться у китайского доктора иглами».

Тюрина выписали в тот же день. Голова у него зажила, по выражению Цейтлина, как на собаке, и остался только шрам, длинный, через весь лоб, который он прятал под фуражкой. Тюрин узнал, что капитан уходит, и пошёл с ним, не спрашивая. Полк был далеко, под Мукденом. Капитана в полк не отпускали. Значит, и Тюрину туда незачем.

В коридоре они столкнулись с Варей.

Она шла навстречу с подносом, на котором стояли кружки, и остановилась. Посмотрела на шинель, на перевязь, на Тюрина за его спиной. Ведерников ждал, что она скажет что-нибудь резкое, как говорила поручику Шереметеву про курение. Она не сказала.

— Уже уходите?

— Да, Варвара Николаевна.

— Насовсем?

— В город. Подполковник Глинский...

— Знаю. Корф рассказал. Он всякий раз приносит новости, будто за них я должна уделить ему время. — Варя помолчала. — Вы будете искать того человека?

— Да.

— Тогда послушайте. Я не сказала этого подполковнику. Только вчера вспомнила.

— Я слушаю.

— Пальцы. Чёрные. — Она поставила поднос на подоконник. — Я всё думала, отчего они такие. Не ожог, не грязь, не краска. И вчера вспомнила. У доктора Цейтлина в перевязочной есть карандаш. Ляписный. Им прижигают дикое мясо в ранах. Если ляпис попадёт на кожу, кожа чернеет. Не сразу, через час. И не отмывается, сходит только с кожей, через неделю, через две. — Она подняла на него глаза. — Это ляпис, капитан. Азотнокислое серебро. У него пальцы в ляписе.

— Он врач?

— Может, врач. А может... — Она замялась. — У нас в Иркутске на Большой улице был фотограф, Мильман. У него пальцы были такие же. Чёрные. Мы девочками смеялись, что он трубочист. А он сказал, что это от серебра, что он им пластинки проявляет. Все фотографы такие, сказал он. Кто пластинки сам делает. Это навсегда.

Ведерников задумался.

— Фотограф, — сказал он наконец.

— Или врач, — сказала Варя. — Я не знаю. Я только знаю, что это ляпис.

— Вы мне очень помогли, Варвара Николаевна.

— Не за что. — Она подняла поднос. — Только плечо берегите. Если рана загноится, Цейтлин и вправду рассердится.

— А вы?

— Я тоже. — Она пошла по коридору, не оборачиваясь. Ведерников проводил её взглядом, пока она не скрылась за поворотом.

* * *

Осенью 1904 года Харбин рос быстрее, чем землемеры успевали наносить на планы новые улицы.

Шесть лет назад на этом месте, на правом берегу Сунгари, стояла китайская деревня, винокурня и несколько фанз. Потом пришла дорога. Пришли инженеры, подрядчики, рабочие, охранная стража, купцы, китайцы-кули, сибирские мужики, польские техники, еврейские лавочники, грузинские духанщики, японские фотографы и парикмахеры, американские агенты фирмы Зингера, английские агенты фирмы Ллойда и проститутки всех наций, включая те, которых на картах нет. И за шесть лет на пустом месте вырос город. Вырос он не как растут города, медленно, от площади к окраинам, а как растут грибы после дождя: сразу и везде.

Наверху, на горе, стоял Новый город, казённый, железнодорожный, с управлением дороги, с собором, с прямыми широкими улицами, которые были пока ещё просеками. Внизу, у реки, стояла Пристань, торговая, купеческая, тесная, шумная, с пароходными конторами, с банками, с ресторанами, с лавками, с номерами, с китайскими харчевнями, с вывесками на четырёх языках. А дальше, на восток, за Пристанью, за болотом, начинался Фудзядянь, китайский город, куда русские ходили днём по делу, а ночью не ходили совсем, если были в своём уме.

Война сделала Харбин тылом. Через него шло всё: войска на юг, раненые на север, снаряды, сухари, сено, овёс, сапоги, шинели, интенданты, подрядчики, корреспонденты, сёстры милосердия, шпионы. Население за полгода выросло вдвое. Цены втрое. На Пристани за ночь в карты проигрывали состояния, нажитые за день на поставках, и ресторан «Модерн» не закрывался до утра.

Ведерников шёл по Китайской улице, главной улице Пристани, вчитываясь в каждую вывеску.

Тюрин держался на полшага сзади. Его интересовали не вывески, а руки прохожих и тёмные проёмы подворотен. Двадцать лет пограничной службы приучили его замечать опасность раньше, чем она покажется.

— Вашбродь, — сказал он. — За нами китайчонок идёт. От самого спуска.

— Вижу.

— Прогнать?

— Не надо. Пусть идёт.

Китайчонку было лет четырнадцать. Он был в синей куртке, в синих штанах, подвёрнутых до колен, босиком, с косой, обмотанной вокруг головы, и с лотком на ремне через плечо. На лотке лежали папиросы, спички, леденцы и японские открытки с видами Фудзиямы. Он шёл за ними от спуска на Пристань, всё время держась шагах в десяти, и всякий раз, когда Ведерников оборачивался, принимался громко кричать: «Папилос! Папилос! Капитана, папилос купи!»

На углу Китайской и Мостовой Ведерников внезапно остановился и обернулся.

Мальчик замер в нескольких шагах.

— Иди сюда, — сказал Ведерников.

Мальчик подошёл не торопясь. Он явно привык, что его окликают и прогоняют, и не видел причин пугаться.

— Капитана, папилос?

— Как тебя зовут?

— Ли. — Китайчонок оскалился. Зубы у него были белые, ровные, и одного переднего не хватало. — Ли Фу. Капитана, папилос «Ласточка», пять копейка. Хороший папилос, русский.

— Зачем ты за мной идёшь, Ли Фу?

Мальчик вскинул глаза — цепкие, внимательные.

— Капитана рука больной, — сказал он. — Капитана из госпиталь пришла. Капитана смотрит, смотрит, вывески смотрит, людей смотрит. Капитана ищет. Ли Фу думает: капитана ищет, капитана не знает Пристань. Капитана заплатит, Ли Фу покажет.

Тюрин хмыкнул в бороду.

— Ишь ты, — сказал он. — Бойкий.

Ведерников внимательнее посмотрел на мальчика.

— А что ты мне покажешь, Ли Фу?

— Всё покажу. — Китайчонок широко повёл рукой, охватывая Пристань, Сунгари, пароходы, небо. — Ли Фу здесь родился. Ли Фу всех знает. Где играть, где курить, где девочки, где деньги менять, где сапоги хорошие. Капитана скажи, что ищет.

— Фотографию.

— Фото? — Китайчонок удивился, но только на мгновение. — Капитана хочет карточка? Для мама? Ли Фу знает. Есть хороший фото, русский, на Китайской, Ковальский. Есть ещё фото, на Мостовой, Гершман. Есть Ван, на Диагональной, дешёвый. Был японский фото, два, их прогнали, когда война. Ещё был фото Чжан, хороший, дорогой, офицеры ходили. Ателье «Восток».

— Был?

— Закрыт. — Китайчонок пожал плечами. — Давно закрыт. С август. Чжан уехал. Никто не знает куда.

Ведерников переглянулся с Тюриным. Тот уже улыбался в рыжую бороду.

— Покажи «Восток», Ли Фу, — сказал Ведерников. — Получишь рубль.

— Рубль! — Китайчонок подпрыгнул. — Капитана, за рубль Ли Фу покажет всё. Пошли.

* * *

Ателье «Восток» помещалось на Диагональной улице, в трёх кварталах от Китайской, в двухэтажном деревянном доме с резными наличниками и с верандой на втором этаже. Внизу была лавка шорника. Над лавкой, на втором этаже, во всю ширину дома, висела вывеска: «ВОСТОКЪ. Художественная фотографія. Портреты, группы, виды. Увеличеніе съ любыхъ снимковъ. Ч. Ши», и ниже, помельче, то же самое по-китайски и, кажется, по-английски.

На веранду вела наружная лестница. Дверь запирал большой ржавый амбарный замок.

Шорник, толстый белорусский еврей в кожаном фартуке, вышел на крыльцо, когда увидел, что офицер смотрит на вывеску.

— Закрыто, господин офицер. С августа закрыто.

— Кто хозяин?

— Хозяин дома? Я хозяин дома, Шмуль Капелюшник, к вашим услугам. А ателье снимал китаец. Чжан Ши. Три года снимал, платил исправно, вперёд за полгода. Хороший был жилец. Тихий. Не пил, не курил, гостей не водил. Только клиентов.

— Каких клиентов?

— Таких, как вы, господин офицер. — Шорник развёл руками. — Офицеров. Он хорошо снимал. Лучше Ковальского, лучше Гершмана. Офицеры к нему ходили, потому что он делал так, что каждый на карточке был красавец. Генерал к нему ходил. Сам. Я видел. Генерал Ордынцев, комендант. Ну, может, не сам, может, генеральша. Но ходили.

— Когда он уехал?

— Двадцатого августа. Или двадцать первого. Я помню, потому что в тот день пришли вести из-под Ляояна, все бегали, кричали. А он спустился с лестницы с чемоданом, заплатил мне ещё за месяц, хотя было уплачено до декабря, сказал, что уезжает к родным в Гирин, по делам, и что ателье пусть стоит запертым, он вернётся. И ушёл. Замок сам повесил.

— Он говорил по-русски?

— Как мы с вами. Лучше. — Шорник почесал бороду. — Знаете, господин офицер, я вам скажу. Я тридцать лет живу между русскими, я знаю, как говорят по-русски. Так, как он, не говорят. Так говорят по книжке. Как в синагоге читают. Каждое слово отдельно.

— А руки у него были какие? Вы видели?

Шорник посмотрел на него странно.

— Руки? Что руки? Руки как руки. Фотографические. Чёрные пальцы. У них у всех чёрные пальцы, у фотографов. От серебра. Он всегда в перчатках ходил, чтобы клиенты не пугались. Летом, в жару, и то в перчатках.

Ведерников снова посмотрел на вывеску.

«Ч. Ши».

— Ключ от ателье у вас есть?

— Есть свой, хозяйский, от входной двери. Но он свой замок повесил, а от того ключа нет.

— Тюрин, — сказал Ведерников, не оборачиваясь.

Тюрин поднялся по наружной лестнице, осмотрел замок, вынул из-за голенища тесак и одним движением вывернул из двери пробой вместе с замком. Шорник ахнул.

— Господин офицер! Это же... Это же чужое имущество!

— Это, господин Капелюшник, военная необходимость, — сказал Ведерников. — За дверь вам заплатят. Подполковник Глинский заплатит. Управление дороги, второй этаж.

Шорник открыл рот, но так ничего и не сказал. Фамилию Глинского на Пристани, видимо, знали.

Ли Фу стоял внизу, у крыльца, со своим лотком, и смотрел на них большими глазами. Ведерников спустился на одну ступеньку и протянул ему рубль.

— Держи.

Китайчонок взял рубль, попробовал на зуб, сунул за щёку.

— Капитана ищет Чжан? — спросил он тихо, уже без всякого «папилос».

— Да.

— Чжан плохой человек?

Ведерников помедлил.

— Не знаю, Ли Фу. Пока не знаю.

— Ли Фу видела Чжан, — сказал китайчонок. — Один раз. Зимой. Ночью. Ли Фу ходил в Фудзядянь, к дяде. Чжан шёл по Фудзядянь, без шляпа, без коса.

— Без косы?

— Без коса, — повторил Ли Фу и провёл ладонью по затылку. — Голова как у русский. Коса не было. Ли Фу думал: зачем Чжан без коса? Китаец без коса нельзя. Китаец без коса голову рубят. А Чжан шёл. — Он помолчал. — Ли Фу думал, может, это не Чжан. Темно было. Но Ли Фу видел, как он руку поднимал. Перчатка. Чжан всегда перчатка.

Ведерников пристально посмотрел на мальчика.

— Ли Фу, — сказал он. — Хочешь получать рубль каждую неделю?

Китайчонок вынул рубль из-за щеки, посмотрел на него, сунул обратно.

— Капитана хочет, Ли Фу будет смотреть?

— Капитана хочет, чтобы Ли Фу смотрел.

— Ли Фу всё время смотрит, — сказал китайчонок серьёзно. — Ли Фу на Пристани живёт. На Пристани кто не смотрит, тот голодный.

Наверху, на веранде, Тюрин отворил дверь ателье. Петли протяжно заскрипели. Из темноты потянуло затхлостью и кислым запахом химикатов. Ведерников вспомнил рассказ Вари о фотографе Мильмане и его почерневших пальцах. Если в этой мастерской работали с теми же растворами, след мог оказаться верным.

Он поднялся по лестнице, держась здоровой рукой за перила, и вошёл.

Глава 6

Ателье «Восток»

Ателье казалось пустым, но следы чужой жизни оставались повсюду. Мебель ещё стояла на местах; исчезло только то, ради чего сюда приходили.

Первая комната, большая, светлая, с огромным окном во всю стену и с другим окном в потолке, застеклённым мутным рифлёным стеклом, была павильоном. Ведерников знал это слово, потому что в Вильне снимался дважды, для формуляра и для матери, и оба раза в таком же павильоне. На полу лежал потёртый ковёр. У стены стояли ширмы, а за ширмами, свёрнутые в рулоны, лежали задники: раскрашенные холсты, на которых, если развернуть, оказывались то Нева с Петропавловской крепостью, то кавказские горы, то колоннада какого-то дворца, то берёзовая роща, то море с парусом. Перед окном стояли гипсовая колонна, бархатное кресло с высокой спинкой, столик на гнутой ножке и кадка с засохшей пальмой. Фотографического аппарата не было. Остался только штатив, деревянный, на трёх ногах, и тот без головки.

Вторая комната была меньше и темнее, без окон, с обитой войлоком дверью. Тюрин нашёл на полу огарок свечи и зажёг его. Из темноты выступили полки со склянками и банками. В одних белели остатки кристаллического порошка, другие покрывал тёмный налёт. На столе стояли два цинковых корыта, под ним — ведро. Рядом висел красный стеклянный фонарь с кривым жестяным колпаком. От едкого, кислого запаха слезились глаза.

— Кухня, — сказал Тюрин и чихнул. — Вашбродь, это ж как он тут дышал?

— Привык.

Третья комната была жилой. Узкая походная кровать под солдатским одеялом. Табурет. Столик с высохшей чернильницей и стаканом, на дне которого остались три волоска от кисти. Гвоздь в стене. Циновка у кровати. Ни книг, ни бумаг, ни икон, ни картинок. Келья.

Ведерников стоял посреди этой кельи и смотрел.

Китаец, три года живший на Пристани, должен был оставить после себя что-нибудь китайское. Божницу с курительными палочками. Счёты. Чайник. Лакированную шкатулку. Хоть что-нибудь. Здесь не было ничего. Это была комната человека, который знал, что уйдёт, и заранее не впускал в неё ничего, что пришлось бы уносить.

— Аким, — сказал он. — Пол.

Тюрин сразу понял. Кряхтя, опустился на колени и принялся простукивать половицы рукояткой тесака. Ведерников вернулся в тёмную комнату и осмотрел полки. Склянки и банки были пусты. Лишь на одной, высокой, из тёмного стекла, сохранилась наклейка с немецкой надписью: «Argentum nitricum». Азотнокислое серебро. Ляпис.

Он поставил банку и долго стоял, глядя на неё.

— Вашбродь! — позвал Тюрин из павильона. — Вашбродь, тут!

* * *

Тайник был не в полу, а в потолке.

Тюрин простучал пол во всех трёх комнатах и ничего не нашёл. Вернувшись в павильон, он сел отдышаться в бархатное кресло перед колонной и поднял глаза к потолочному окну. Крайняя рама, у самой стены, сидела чуть ниже остальных — на полпальца. Тюрин взобрался на кресло, с подлокотника перебрался на спинку, едва не сорвался и ухватился за раму. Дёрнул. Рама подалась. За ней, в низкой полости между потолком и крышей, плотно стояли ящики.

Деревянные. Плоские. С ручками. Двенадцать штук.

Ящики снимали вдвоём: Тюрин подавал сверху, Ведерников одной рукой принимал и ставил на ковёр. Плечо жгло огнём, но капитан не обращал внимания. Он открыл первый ящик.

Внутри, в пазах, торцом вверх, стояли стеклянные пластинки. Негативы. Каждый в отдельном бумажном конверте, и на каждом конверте тушью, мелко, аккуратно, были написаны какие-то знаки. Не китайские. Ведерников видел китайские иероглифы на вывесках, на лавках, на чайных ящиках: те были сложные, густые, похожие на маленьких запутавшихся пауков. Эти были проще. Угловатые, редкие, из нескольких чёрточек. И рядом с ними, другим почерком, русским, тоже тушью: цифры. Даты. «12.III.04». «3.V.04». «28.VII.04».

Он вынул одну пластинку, наугад. Поднял к окну.

Негатив был тёмный, перевёрнутый, и сначала он ничего не понял: белые пятна там, где должно быть чёрное, чёрные там, где белое. Потом глаз привык. На пластинке был офицер. Сидел в бархатном кресле, вот в этом самом, перед этой самой колонной. В мундире, при шашке, с фуражкой на колене. Белые волосы, чёрное лицо, белые глаза. Молодой. Усатый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.